**1813\_Vinogradov (01.52.07)**

*Проверка М.В. Радзишевской*

**Игорь Иванович Виноградов:** Ну, наверное, мне начать нужно с того, что я родился и вырос в семействе, для которого... или которое лучше всего, наверное, определить термином, возникшим в совершенно другое время, по отношению к другим совершенно... другому объекту, другим явлениям, термином, который дал Достоевский: «случайное семейство». Вот, семейство, в котором я вырос, было действительно таким «случайным семейством», в том смысле, что у этого семейства не было никаких таких длинных корней в прошлом, родословной, генеалогии какой-то, не было традиций, которые шли бы откуда-то из предыдущих поколений. Это семейство, которое образовалось совершенно случайно и несло на себе все черты «случайного семейства».

Отец мой родился и раннее детство и отрочество провел в деревне Уменицы Тверской губернии. Если Базаров как-то гордился тем, что его дед пахал землю, то вот я могу сказать, что мой отец пахал землю, потому что, действительно, он был крестьянский сын, тащивший на себе уже какое-то время семью. Потому что его отец, мой дед, Тихон, был взят на Первую мировую войну в 1914-м году, когда отцу моему было девять лет всего. И в первый же год он был убит. Значит, семья осталась на моего прадеда, на деда моего отца, деда Игната... мы его так звали, «дед Игнат», и в какой-то мере на отца, потому что с десяти, с одиннадцати, с двенадцати лет он уже был включен полностью в жизнь, бытовую жизнь семьи, и должен был думать о том, как помогать матери.

Уменицы, деревня Уменицы, по легенде, получила свое название от того, что туда... в этой деревне укрывались крестьяне, сбежавшие от своих помещиков. Дело в том, что, значит, вот тот район, тот регион, где расположена эта деревня, издавна был... всегда принадлежал государству, и крестьяне там никогда не были помещичьими, а всегда были, значит, государственными крестьянами. И вот туда помещичьи крестьяне сбегали и сбегали в эту деревню, которая находилась в довольно глухом месте, вдалеке от железнодорожных всяких станций, километров тридцать или сорок. Ближайшее село с храмом было в пяти километрах, так что там, в общем, обосноваться можно было. Деревня была большая, там храма не было, но была школа, так что можно себе представить, что это действительно было поселение достаточно значительное.

Так вот, я помню... то есть я знаю как бы родословную свою с этой стороны только вплоть до прадеда моего, до деда Игната, который остался главной силой в семье после смерти, после гибели моего деда. Дед Игнат – я его очень хорошо помню, потому что меня родители, после того, как я родился (а родился я в Ленинграде), очень часто отправляли летом к бабушке в деревню. И вот я очень вспоминаю такую картину – она у меня просто перед глазами стоит – большой-большой стол, такой, деревянный, в избе, во главе сидит дед Игнат. Он был такой маленький, сухонький старичок с белым венчиком седых волос, плешивый, как и отец мой. И очень много детей за этим столом. Детей, я уж не помню, кто именно. Какие-то, видимо, двоюродные или троюродные родственники или племянники, там, я не знаю...

**Екатерина Голицына:** А семья большая была?

**И.В.:** Семья была небольшая, нет.

**Е.Г.:** У вашего отца? Братья, сестры...

**И.В.:** Нет, нет. Значит, когда погиб Тихон, отец... то есть мой дед, он оставил двух детей. Вот, старший был мой отец и еще его сестра, тетя Шура, младше его на несколько лет. И вот, бабушка Дуня, мать отца, дед Игнат, или прадед Игнат, отец и вот его сестра – вот все семейство. Но как-то, видимо, значит, вот за этим столом собиралось очень много еще такой ближайшей родни. И я очень хорошо помню, как, значит, дед Игнат сидит во главе стола и бдительно следит за тем, чтобы все дети выполняли правила еды за этим столом. А правила еды были такие: общая миска, общий горшок со щами, скажем. И дети по очереди оттуда достают и хлебают.

**Е.Г.:** Это вы видели?

**И.В.:** Это я видел. Мне, как городскому ребенку, была поставлена отдельная мисочка.

**Е.Г.:** Деревянными ложками ели?

**И.В.:** Сейчас я не помню, наверное, деревянными ложками, да. А дети, значит, все остальные по очереди должны были из этой общей миски, значит, свою порцию прихлебывать. И дед Игнат, когда кто-то вообще вдруг пытался без очереди влезть, он деревянной ложкой хлопал по лбу и говорил: «Монька! В очередь!»

**Е.Г.:** Прелесть!

**И.В.:** Вот это я очень хорошо помню, очень хорошо помню. Дед Игнат вообще был очень забавным человеком. Он дожил почти до ста лет, и когда мои родители уже были в Ленинграде (как они оказались в Ленинграде – я расскажу), он предпринял путешествие в Ленинград из Умениц. Пришел пешком в Ленинград, практически босиком или в лаптях, а сапоги с собой, значит, на веревочке, там, за спиной. И недели две он, примерно, прожил у мамы с отцом, там, в Ленинграде. У них уже была своя комната...

*(Обсуждение бытовых вопросов)*

***00.08.58.***

**Собеседник 2.:** Солнышко, ты сказал про Уменицы, но совершенно не следует из того, что туда бежали крестьяне, что деревня называется Уменицы. Ты же не сказал...

**И.В.:** Как не сказал?

**С.2:** Ты не сказал, почему.

**И.В.:** Ну, это можно вставить, наверное?

**С.2:**Вот, я про это и говорю.

**И.В.:** Про Уменицы?

**С.2:**Уменицы – в смысле, «умный», «умницы».

**И.В.:** Да, я забыл, наверное, пояснить, что деревня Уменицы потому и называлась Уменицами, что туда, вот, умные мужики сбегали и укрывались в ней.

Да, так я возвращаюсь к деду Игнату. Вот, он пришел в Ленинград и жил недели две, наверное, у родителей. И целыми днями бродил по городу, потому что ему было безумно интересно. Никак не мог найти место, где можно, простите, пописать. И где-то однажды забрел под какой-то мост *(смеясь)* с тем, чтобы справить нужду, где его захватил какой-то милиционер. Ну, в общем, значит, обошлось это все более-менее нормально, потому что он, видимо, понял, что за дед, откуда он явился и не знает правил поведения в городе. Все обошлось.

Но вот однажды дед Игнат пришел совершенно потрясенный, вернулся из своего путешествия по городу, и сказал маме: «Асенька...» А оказалось, что он, значит, забрел в Казанский собор. А Казанский собор в это время был Музеем атеизма, где были выставлены все, в общем, боги всех времен и народов. И вот, он вернулся когда домой, в потрясении совершенно, он сказал: «Асенька, какой я грешник-то, оказывается! Я же не знал, что столько богов – надо молиться! А я все время молился одному!» Вот. Ну, значит, благополучно, тем не менее, это путешествие обошлось, он вернулся потом в Уменицы и дожил там почти до ста лет.

Так вот, отец, оставшись без своего отца, без деда Тихона в девять лет, кончил сначала начальную школу, которая была в самих Уменицах. Потом ходил через пять километров в Покров, это ближайшее село, храмовое, где был храм, и где была школа уже средняя. Кончил там среднюю школу, и тогда бабушка его отправила... бабушка отправила его в Бежецк, в педучилище. Он поступил в педучилище, окончил педучилище. Там же он встретил мою маму, значит, они там познакомились. Поженились они позднее. Она тоже была... кончила педучилище. Но я к ней еще... к ее истории немножко позже вернусь. Вот, и после окончания педучилища он какое-то время преподавал в одном из районных центров, Красном холме. А потом поехал в Ленинград, где поступил в пединститут имени Герцена. Сначала на юридический факультет, потому что он был уже в то время пламенным комсомольцем и хотел пойти по стопам Ленина. Но, в конце концов, юридический факультет ему показался как-то неинтересным, и он перебрался, перешел на философский. И кончил философский факультет Герценовского пединститута... Или, там, философское отделение – не знаю уж, как там назвать это. После этого он стал... они поженились с мамой, он стал редактором молодежной газеты ленинградской, он получил комнату, где они стали жить с мамой и где на свет появился и я, и через какое-то время вернулся в пединститут уже деканом философского факультета.

Мать... значит, что касается линии матери, то тут мои знания в отношении ее предков, ее генеалогии, родословной еще меньше. Вот, со стороны отца я знаю только деда Игната, и все. А дальше – какой-то провал. Откуда, что и как – ничего не помню, не знаю. Надо было в свое время, наверное, поспрашивать и мать, и отца... Но как-то... тогда это казалось не так важным. А вот сейчас я дорого бы дал, если бы я мог что-то узнать более подробно. Мать... у матери родословная вообще нулевая. По легенде – а мать склонна была к некоторому такому мифотворчеству – и она рассказывала, что, якобы (я говорю «якобы», потому что я не уверен в подлинности этих сведений), что, якобы, она родилась в результате такой вот... ну, как бы это сказать... ну, незаконной любви некоего инженера, который был, работал в Бежецке и учительницы, тоже бежецкой, которая, вот, стала ее матерью. А ее отец, вот этот инженер, был, как она говорит, татарин из рода Гиреев. Даже носил какую-то фамилию. И потом он, забрав ее мать, уехал с нею строить КВЖД. А после революции они очутились в Харбине. И даже мать говорит, что приезжала оттуда ее сестра, которая появилась уже в Харбине, пытаясь наладить какие-то отношения, там. Но это ничего не получилось: они очень боялись, естественно, всяких связей с заграницей. И насколько это вообще соответствует действительности – понять очень трудно. Но то, что у матери была татарская кровь, – это несомненно. Она по внешнему облику была немножко такая, скуластая. И я на себе это чувствую, потому что вот вся моя растительность – она построена на моем лице так, как это бывает именно у татар. Щеки чистые, а вот если бы отпускать бороду, она была бы такая реденькая, длинненькая, таким хвостиком. Вот.

И когда родители матери уехали на КВЖД, а потом уже в Харбин, они отдали мать на воспитание в знакомую семью к местному обывателю по фамилии Круглов. Отсюда у матери и фамилия официальная Круглова. И вот, она росла в этом семействе, и надо сказать, что она была, видимо, тоже способной девочкой, и она тоже кончила не только школу начальную, но и среднюю школу. И в Бежецке ее даже отправили в педучилище. Она кончила педучилище, вместе с отцом уехала в Ленинград. Там она поступила тоже в Герценовский пединститут на историческое отделение, кончила его, потом была преподавательницей истории. Там они и поженились. Там они и поженились. Я появился на свет в 30-м году.

Я был не первый ребенок, потому что первый ребенок, как мать рассказывает, умер при родах, и поэтому они очень все – и отец, и мать – очень тряслись надо мной. Мать рассказывала, что, когда отец узнал диагноз, который поставил семейный врач – тогда был, значит, такой доктор Кубик, – о том, что мне нужно ходить обязательно на какие-то облучения, на какое-то... не знаю, что это такое было, потому что, как все ленинградские дети, у меня были признаки рахита. И отец, значит, жутко рыдал, когда вез меня обратно на саночках, что сын его такой рахитик. Но потом он успокоился, ему все-таки объяснили, что ничего страшного нет, что вот это все пройдет... ну, вот, значит, страх был такой, действительно. Он вез меня на саночках, которые были сделаны из нормальных санок, но оббитых фанерой, так что это были такие... типа, что-то маленькой кареты, что ли. Вот, я сидел в этой карете.

И отец мной занимался довольно много. Я плохо себя помню, вот это раннее детство, только какие-то отдельные картинки в памяти возникают. Ну, может быть, стоит все-таки их как-то выстроить, потому что что-то, может быть, исторически характерное в этом есть. Вот, одна из первых картинок, которые я... как бы, в памяти встают из этого раннего детства: это мы идем в какой-то очень большой толпе – это была, видимо, демонстрация. Это 37-й год (*поправляется*) 34-й год, 34-й год, убийство Кирова. И я вижу, я сижу на плечах у отца и вижу: где-то наверху, на каком-то возвышении стоит гроб. Было ли это на улице, или было ли это в каком-то зале – я сейчас совершенно не помню. Но у меня было ощущение такое, что это просто, вот, на улице. И вот, идет эта толпа, эта демонстрация – я уже знал, что какой-то Киров, что его убили, но это были самые такие смутные и туманные представления.

Потом я помню еще какие-то вещи, характерные, может быть, для того времени. И помню, как какой-то вечер, представление, которое было затеяно то ли у отца в пединституте, то ли в школе, где преподавала мать. Это одно из тех представлений, которые часто были в то время, когда, значит, на сцене выстраивались молоденькие физкультурники, ходили там, значит, под всякими знаменами, и выполняли всякие такие, значит, маршевые действа. И вот, это было тоже такое представление, где ведущая организовала шеренгу, и эту шеренгу выводила на сцену, и эта шеренга маршировала. А я, как самый маленький, самый младший, должен был быть командиром этой шеренги. И вот эта ведущая сказала, что вот, когда она выведет эту шеренгу, этот отряд на сцену, и поставит ее, я должен присесть и отдать честь. Что я и выполнил совершенно, значит, послушно. Когда шеренга выстроилась, я вышел вперед, повернулся задом к сцене... к залу, присел и отдал честь моему отряду. За что немедленно был поднят этой ведущей, она пересадила меня и сказала, чтобы я отдавал честь в зал, публике, и потом очень долго выговаривала мне, что я так вот поступил. А я был абсолютно уверен, что я сделал совершенно правильно (хотя мне было, значит, здесь, там, что-то, лет пять, наверное, не больше, вот), что я сделал совершенно правильно. Я возражал ей: «Как же так? Кому же я честь-то отдаю? Я должен отдавать честь своему отряду!» Помню, что вот эта самостоятельность какая-то...

*(Обсуждение бытовых вопросов)*

***00.24.38.***

**И.В.:** Так вот, вспоминая этот эпизод, я понимаю, что где-то, вот, даже в таком еще младенческом, в сущности, возрасте, все-таки амбиции некоторые и самостоятельность суждений и поступков во мне уже начали проявляться.

Я помню, как меня няня... а няней была девушка, которая была выписана из Умениц, приехала и нянчила и потом оставалась всю жизнь няней в семействе, Таня, ведет по улице, гуляли около Дворца труда в Ленинграде… А жили мы на улице, которая тогда называлась Красная улица, теперь она называется Галерная, вот в таком типичном ленинградском доме, с глубоким каким-то таким двором-колодцем. И мы идем, на мне надето какое-то пальтишко шубка какая-то, и болтаются варежки, которые были на шнурочках, да, на веревочках, чтоб не упали, не пропали. И Таня меня заставляет их надеть на себя. И я говорю, что «нет, я не надену: я герой!» Вот, значит, таким «героем» я себя чувствовал, наверное, уже где-то, вот, начиная с четырех лет и всячески пытался доказать всем, кому только можно, что я сам по себе, сам по себе, у меня свое... в общем, своя жизнь. Это потом проявилось в дальнейшем. А сейчас я просто закончу рассказ о моих, вот, предках, да?

Значит, оставшись без мужа, бабушка Дуня, моя бабушка, и дед Игнат – вот, они сделали все, чтобы семейство можно было поднять и выучить даже, вот, старшего... Перерыв маленький.

*(Перерыв в записи)*

***00.27.13.***

**И.В.:** И вот, бабушка Дуня и Игнат – они действительно подняли семейство, сохранили его. И хозяйство было крепкое, хотя без главного кормильца. И настолько крепкое, что даже во время коллективизации бабушку с дедом Игнатом пытались раскулачить, хотя там ничего близкого даже у них не было. *(Усмехается).* Ну, как-то удалось от этого, видимо, избавиться, и никаких репрессий не было, и семейство продолжало существовать, а отец – учиться и совершать ту карьеру, которую он совершил.

Тетя Шура, сестра его, моя тетка, так и осталась деревенской женщиной, жила всю жизнь с бабкой в Уменицах, не получила никакого образования… Очевидно, все силы ушли на то, чтобы получил образование отец. Отец был способным, я бы даже сказал, талантливым человеком, совершенно несомненно, вот, что очень видно уже из, вот, начальной, что ли, поры его жизненного пути, когда он сумел и не только педучилище, но и кончить пединститут, и потом стать деканом философского факультета. И дальнейшая его судьба и дальнейшая его карьера – она тоже была очень показательна для того времени, потому что, конечно, он... Я думаю, что и в царские времена, и в старой России крестьянские дети имели возможность получать какое-то высшее образование. Но то, что советская власть, несомненно, открыла эти возможности перед... это, вот, на примере отца это очень хорошо видно, и отец всегда считал и говорил даже позднее, что «вот если бы не советская власть, то он никогда не стал бы тем, кем он стал».

А кем он стал? Он был членом партии, естественно. И в 36-м или в 37-м году, я сейчас точно не помню, когда были организованы... в 34-м или 35-м, по-моему, когда были организованы машинно-тракторные станции, началась коллективизация, он был по партийной мобилизации освобожден от должности декана *(смеясь)* и отправлен начальником политотдела МТС в Саратовскую область, в село Новорепное – это на границе Саратовской области и Казахстана. И... потом политотделы МТС, через год или два были преобразованы в райкомы партии, и он стал первым секретарем райкома партии. Пробыл где-то, там, секретарем года, наверное, два или три. Да, а в 37-м году был взять в обком партии саратовский, поначалу, значит, в качестве заведующего Отделом науки и школ... школ и науки, а потом он стал секретарем обкома по пропаганде и агитации, как человек с философским образованием, там, и так далее. Вот. И он был... работал, значит, секретарем обкома партии в Саратове. А в 43-м году был переведен в Молотов, нынешняя Пермь, переведен, где я закончил уже... почти закончил школу. А потом был взять в Центральный комитет партии. И самая большая его, как бы так сказать, карьерная должность, ступень его карьеры – он был первым заместителем заведующего Международным отделом ЦК партии социалистических стран. А заведующим был секретарь ЦК, господин Андропов.

**Е.Г.:** Ничего себе!

**И.В.:** Да. Значит, и вот, потом он, после этого был... какое-то время уже работал в Праге, в журнале «Проблемы мира и социализма», он был ответственным секретарем. А потом проректором Высшей школы для иностранцев в Москве, то есть, в общем, карьера для крестьянского паренька незаурядная. Незаурядная и свидетельствующая о том, что, действительно... в общем, что у него были задатки достаточно серьезные. Он был, действительно, образованным человеком. У него была абсолютно интеллигентная речь, но иногда с какими-то странными вкраплениями, вроде кил*о*метров, или еще какие-то такие неточные акцентировки. Но речь абсолютно интеллигентная. Он всегда делал, как и полагалось секретарю по пропаганде во время торжественных каких-то праздников, доклады на общегородских собраниях. Сталин делал доклады, скажем, в дни Октябрьской революции в Москве, а вот по всем областям секретари обкомов должны были делать такие у себя доклады. Вот.

И кончил он очень... человеком, уже совершенно разочаровавшемся в том, чему он всю жизнь служил, уже во времена Хрущева, во времена, значит, «оттепели». Это было время, когда мне уже даже неинтересно было спорить с ним, потому что то, что он понял в конце жизни, я понял значительно раньше. И это был уже, так сказать, не предмет для обсуждения даже. А отец весь, можно сказать, жил и пылал негодованием по поводу того, что сделали со страной, что делает там этот «кукурузник», вот. Так он и ушел из жизни, разочарованным коммунистом, но, тем не менее, продолжавшим оставаться коммунистом, каким он и был, действительно, всю жизнь.

Но, вот, мать мне рассказывала, что, когда мы жили в Новорепном, через... однажды, когда через Новорепное гнали раскулаченных, обоз целый раскулаченных крестьян, отец, стоя у окна, наблюдая эту картину, сказал, что «вот если бы была какая-то партия против Сталина, я бы первый в нее вступил». Потому что крестьянская кровь не позволяла ему смириться с этим безобразием. Но, так или иначе, он, все-таки, видимо, как-то с этим смирился, как очень многие в это время, считая, что, все-таки, при этих ошибках делается великое дело, и он обязан этому служить. Я должен сказать, что я и отцу, и матери очень благодарен за то, что… Отец был, вот, в жизненном, в бытовом плане человеком очень чистым. Никогда не было никакого хапужничества, какого-то интереса к материальному обогащению и так далее. Жили мы всегда очень скромно, хотя эта скромность, по сравнению с тем, как жили окружающие, была, конечно, эксклюзивом каким-то. Но, тем не менее, тем не менее, вот, ничего, похожего на жизнь «золотой молодежи», которую я тоже повидал вокруг себя в этой обкомовской среде, у нас в семье не было. И то, что этого не было, – это, конечно, заслуга отца и заслуга матери. Вот. Мать работала до последнего времени, до Молотова, преподавателем истории, а потом стала просто домохозяйкой.

Значит, как строилась моя жизнь? Это тоже, наверное, может иметь какой-то социологический, исторический интерес и, в какой-то мере, достаточно типично для того времени. Наверное, это стоит рассказать. Что касается раннего детства, я повторяю, значит, вот это какие-то отдельные картинки, которые возникают у меня из ленинградской жизни. Да. Еще такая картинка, забыл о ней рассказать.

*(Обсуждение бытовых вопросов)*

***00.38.38.***

**И.В.:** Это картинка – экскурсия Я с какой-то экскурсией, с матерью и с группой взрослых людей в Русском музее. И мы стоим напротив картины Брюллова «Последний день Помпеи» (это мне рассказывала мать, сам я этого не помню), экскурсовод, рассуждая об этой картине, показывает на одну фигуру, там, женщины, которая оглядывается на этот ужас, вот, и спрашивает у членов этой группы, этой экскурсии: «Как вы думаете, что Брюллов изобразил в этом персонаже: удивление или страх на лице ее?» Ну, кто-то говорит, что удивление, кто-то говорит, страх. И вдруг, мать говорит, раздается голосочек мой, который говорит: «А я думаю, что и то, и другое!». *(Смеясь).* Я вам рассказываю об этом, потому что, вот, мне любопытно, как проявлялась уже в детстве вот эта наглость самоуверенности и такой самодостаточности, как бы так сказать. Заявление своего права на свое мнение, на свою жизнь. Я рассказываю об этом потому, что эта черта потом проявилась очень основательно.

Вот, она уже и в Новорепном была, хотя там я был, в общем-то, мелюзгой, но ватага такой сельской шпаны, можно сказать, к которой я принадлежал, – вот эта ватага определяла жизнь свою сама, от родителей совершенно независимо. И это было... это были ребята, старше меня, лет девяти, лет десяти, там, и больше, одиннадцати, двенадцати, которые были посвящены уже в отношения, скажем... в отношения полов полностью. И я тогда уже в какие-то четыре, там, пять или шесть лет – я тоже все знал уже. Никаких проблем с этим и потрясений, откровений не было, потому что моя ватага во всяких ямах, буераках занималась воспроизводством этих взрослых отношений совершенно в открытую, что называется, на глазах у нашей мелюзги. И мы были совершенно к этому приучены, привычны, ничего необычного не было.

И я помню, как где-то года в четыре или в пять я заявил родителям, что я тоже хочу жениться. Я дружил с девочкой Леночкой, дочкой МТСовского шофера. И я потребовал, чтобы нам сыграли свадьбу. И родители жутко веселились по этому поводу, действительно, устроили нам какую-то, там, такую веселую свадьбу, после чего я сказал, что «ну вы же с мамой спите в одной постели? Пожалуйста, мы тоже будем с Леночкой спать!». Родители опять-таки, смеясь, разрешили нам это, совершенно не понимая, идиоты, что, на самом деле, они позволяют то, чего позволять нельзя. И... ну, это все было абсолютно безобидно, понятно. Абсолютно детская такая... даже не шалость. Даже не шалость, а просто... просто «вот так все». «Так поступают все, и я тоже, почему нет?»

И когда мы переехали в Саратов, я как бы попал в такую же среду, но только городского типа. Там была ватага такой сельской шпаны, которая жила совершенно отдельно, своей жизнью. А тут была городская шпана, то есть мы жили на улице. И все мое воспитание... я не могу сказать, что семейство мной не занималось, нет, занималось. Они строили свою жизнь сами, как всякое «случайное семейство», они были интеллигентами в первом поколении, и поэтому, конечно, пытались то, что они получили из книг, из чтения, там, из образования, как-то воплотить в жизнь и привлечь по отношению ко мне. Я занимался... меня учили играть на скрипке, я кончил школу музыкальную по скрипке потом. Я читать выучился в четыре года. И читал, и писал уже. Но все это было мне неинтересно. Я не могу сказать, что я любил читать. Нет. Я больше любил, чтобы мне читали. Но что мне читали в это время, я даже не помню. Но помню, что у меня своей тяги к этому не было. Не было, потому что, вот, улица – это было совершенно другое. Это совершенно другое, и жизнь там была гораздо интереснее, потому что...

*(Обсуждение бытовых вопросов)*

***00.45.59.***

**И.В.:** Значит, я повторяю, что я больше любил, чтобы мне читали вслух, но вот тоже один из признаков «случайного семейства»: у нас никогда не было никаких семейных чтений, скажем, таких чтений, которые были в семье Достоевского. Отец читал, или мать, читали вслух «Историю государства Российского». И вообще, просвещение было домашнее такое, довольно основательно построено. Ничего этого не было. Отец вечно был на работе, мать тоже была занята, и мы были предоставлены, в общем, дети, сами себе. Я был предоставлен сам себе.

Музыку я не любил, то есть, не то, что музыку не любил, я не любил учиться, для меня это было тягостно. И всеми способами, когда можно было как-то этого избегнуть, я старался избежать. Я хорошо очень помню, как однажды, когда на улице что-то было такое, где мне необходимо было совершенно быть, какая-то игра, или еще что-то, пришла учительница музыки по скрипке, значит, и я должен был ей играть что-то такое. И я понял, что мне надо во что бы то ни стало от нее освободиться. Я начал жутко фальшивить, специально, с тем, чтобы она меня выгнала. *(Смеясь).* Действительно, она, в конце концов, не выдержала и выгнала меня, и я, значит, счастливый, умчался в какую-то свою дворовую эту жизнь.

А дворовая жизнь была очень веселой, забавной. Потому что, скажем, зимой мы катались на коньках, занимаясь таким довольно опасным делом, как, значит, попытаться... у нас были такие крючки сделаны из толстой проволоки с привязанной на другом конце веревкой. И вот этот крючок забрасывался за борт проходящего грузовика, и мы, значит, на этой веревке за этим грузовиком по этим заледенелым улицам... Довольно опасное занятие было, потому что можно было там, действительно, наскочить и на булыжник, и на что угодно. Вот. Ну, вот, мы так гоняли, это было очень интересно. Интересно было гонять на велосипедах летом, да? Неинтересно было заниматься тем, чем тебя заставляли заниматься дома.

Но одновременно с этим... но это уже, конечно, немножко постарше. Одновременно с этим, значит, как раз в это время прошел... во время войны прошел французский фильм «Три мушкетера». Ну и все мальчишки сходили с ума: это был забавный комедийный фильм, где роли мушкетеров исполняли повара, но, тем не менее, нам это было безумно интересно. И у нас немедленно тоже образовалась такая ватага, три мушкетера. Я был Д’Артаньяном, естественно, значит, мои друзья были, там, Портос, Атос и Арамис. И мы устраивали сражения, там, на шпагах, и так далее. Одновременно... вот это была такая, так сказать, романтика. Ну, в это время я уже, конечно, «Трех мушкетеров» знал и вообще уже кое-что прочитал, вот. Но, значит, это было уже время войны. Вот, я не помню сейчас... я не помню, чтобы на меня произвело какое-то сильное впечатление, там, скажем, начало войны. Как-то была полная уверенность, что это, ну, вот... что все равно мы их разобьем...

**Е.Г.:** Страха не было?

**И.В.:** Нет, страха не было. Хотя Саратов начали бомбить уже в 42-м году, когда немцы подошли к Сталинграду, и началась Сталинградская битва, налеты на Саратов были довольно частые. И я очень хорошо помню, вот, тоже такую картинку: мы живем летом на дачах, обкомовских дачах, это игуменское ущелье за Саратовом, довольно такое... глубокая такая долина между сравнительно высоких приволжских таких гор. И однажды ночью мы с отцом выходим на балкон дачи на втором этаже, и я вижу, как по небу, прямо над нами, в разрывах туч и луны летят эскадрильи немецких самолетов. Вот, этот гул... и они идут в сторону Саратова, и там начинаются взрывы, потому что они бомбили... они пытались разбить мост через Волгу и бомбили «Крекинг», завод нефтяной. И вдруг в какой-то момент, когда вот один из таких взрывов, вдруг взметнулось огромное пламя – это загорелся один из баков. Как оказалось, как отец потом мне рассказал, это было искусственно сделано. То есть, там пустой бак подожгли, почти пустой, с тем, чтобы немцев дезориентировать...

**Е.Г.:** Отвлекли.

**И.В.:** Создать впечатление, что они попали, значит, туда, куда они хотели, и чтоб больше уже не бомбили. Эта, значит, маскировка удалась. Но вот эти вот немецкие самолеты, которые летят надо мной, – я это запомнил.

Я запомнил, конечно, естественно, еще один эпизод, причем очень забавный, который произошел летом 42-го, по-моему, года. Когда, тоже летом, мы жили на даче, и на Лысой горе, и на горе за нашей дачей уже были установлены зенитные батареи, на всякий случай, так сказать, да? И вот однажды, значит… А мы играем около лестницы. Лестница, такая большая лестница, спускается от дачи вниз, в долину. И мы играем что-то такое с луками. И вдруг над Лысой горой появляется самолет, очень низко летящий, метров пятьдесят, наверное, от земли, и он спускается в эту нашу долину. И он настолько был близко к нам, что я взял даже из лука попытался выстрелить в него и действительно, наверное, мог бы достать этой стрелой, потому что совсем рядом. Но когда я это сделал, я увидел... вдруг понял, что это немецкий самолет, потому что на крыльях кресты, а из-за стекла кабинки на меня смотрит улыбающееся, смеющееся лицо летчика. И в этот момент грохнул залп, потому что батарея зенитная, наконец, очухалась, и мы с испугу нырнули все под лестницу. И вовремя, потому что потом еще через секунду или несколько секунд просто застучали осколки. Это было... могло бы быть смертельное, действительно, так сказать, занятие. Ну, вот этот летчик улетел, больше таких эпизодов не было.

А мы занимались тем, что ходили по городу, когда это было не лето, скажем, а осень или зима, и пытались поймать шпионов, выследить шпионов, которые должны были подавать какие-то знаки своим, там, летчикам при помощи фонариков. Но нам не удалось поймать ни одного шпиона, но зато, вот, моя ватажка «мушкетеров», значит, готовилась удрать в Сталинград. Мы вырыли такую маленькую пещерку в крутом береге Волги и таскали туда всякие съестные припасы какие-то: колбасу, чего-то еще, там, хлеб, спички, соль, значит, и собирались угнать лодку и поплыть в Сталинград защищать его своей грудью, значит. Но этого тоже не произошло, как-то мы прособирались, наступило лето 43-го года, отца перевели...

*(Респондент отвлекается на телефонный звонок)*

***00.55.05.***

**И.В.:** Отца перевели работать в Пермь, тогда Молотов, и вместо того, чтобы плыть к Сталинграду, мое семейство и я с ним, было погружено на теплоход Камского пароходства. И мы в течение двух, по-моему, больше недель, во всяком случае, плыли сначала по Волге, а потом по Каме в Пермь, куда, значит, со всеми вещами прибыли.

Вот, это было замечательное путешествие, поскольку отец был уже секретарем обкома в Перми, наше появление на этом теплоходе было, конечно, специально организовано, и капитан корабля, капитан этого теплохода тоже проявлял какое-то благорасположение к нам. И я часто бывал на этом капитанском мостике и, значит, смотрел на то... Впервые я видел Волгу в таком виде, в каком ее можно увидеть только в верховьях или в середине, где и Жигули достаточно выразительные горные такие, гористая местность, в отличие от ровной, ровной, ровной полосы плоскостной берегов в низовьях Волги, в Саратове, где мы жили. И потом, в общем, впечатления от Камы, которая оказалась еще шире даже, чем Волга, в своем устье, во всяком случае, – это тоже были очень сильные впечатления.

И очень хорошо помню, как то ли в Чистополе, то ли, может быть, даже в Елабуге теплоход делал остановку, и мы… и на берегу был большой очень базар, и мы с матерью пошли покупать там что-то такое. И я вспомнил, какое впечатление на меня произвели шарики сливочного масла, положенные на капустные листья, на которых даже капли выступали какие-то от такой свежести. Сливочное масло, которое я раньше терпеть не мог, в раннем детстве. А тут это было уже лакомство, потому что, все-таки, война. И хотя мы никогда не испытывали никаких проблем с едой, в отличие от моих товарищей, но для меня это тоже было уже, все-таки, значит, каким-то лакомством. Этот образ этого свежего сливочного масла на покрытом росой листе капусты – это, вот, запечатлелось совершенно такой яркой-яркой картинкой. Вот. Это уже Молотов, уже Пермь.

Если закончить, чуть-чуть вернуться, все-таки, в Саратов, то нужно рассказать о том, что в Саратове я пережил... в Саратове я пережил свою первую в жизни любовь. Потому что в пятом, где-то, классе я влюбился в девочку из параллельного класса и, значит, писал ей записочки, она мне тоже писала записочки, и я по всем тем кодексам шпанисто-рыцарской чести, который был нам, значит, свойственен, старался всячески, значит, опекать ее, ухаживать за ней. А главным занятием в это время было... была жизнь наша мушкетерская и жизнь нашей тайной организации, которую мы назвали «Синие мечи». И вот однажды отец пришел домой в сопровождении какого-то человека, вызвал меня в комнату и сказал, что «вот ты, Гарик...» А звали меня в детстве Гариком. «Гарик, расскажи, вот, пожалуйста, что это у вас за «Синие мечи» такие?» И этот человек меня довольно долго допытывался и спрашивал меня, значит, что это такое. Вот такая контрреволюционная организация была, я знал по одной из книг, то ли Овалова, то ли Шеина, я не помню. «А что у вас контрреволюционного?..» – «Нет, это просто красивое название, и мы решили делать так». Ну, слава богу, попался какой-то нормальный, видимо, НКВДист, и ничего такого не последовало за этим, но впечатление было не очень, тем не менее, приятное. Но, тем не менее, мы продолжали играть в эти «Синие мечи» и…

Может быть, стоит рассказать о том, что... о том, как... я помню этот 37-й год, 38-й год, но больше помню по тому, как рассказывала мне об этом времени мать. А мать говорит, что, все-таки, каждую ночь, когда раздавались какие-то шаги на лестнице... А мы жили в обкомовском доме, где жило все начальство обкомовское, и это были как раз те годы, когда происходили аресты. И вот, она слушала эти шаги и боялась, что вот, не за отцом ли. Но отец... как-то пронесло его: он не попал в эту мясорубку. И я думаю, что это по заведенной схеме, по алгоритму всех этих операций, этих арестов, которые совершались по следующей схеме. Когда брали кого-то, там, скажем, из обкома, на его место брали потом кого-то из «нижних этажей». Вот так отец попал из райкома партии в обком, в обкоме партии из заведующего Отделом науки и школ стал секретарем обкома... И вот, пронесло, что называется, хотя, видимо, какие-то... какие-то настроения вот того типа, которые проявились, когда он стоял у окна в Новорепном и смотрел за вереницей, за обозом этих раскулаченных, у него, все-таки, были. Но на эти темы мы никогда не говорили, естественно, я этого ничего не знал. Я не могу сказать, что это было со стороны отца и матери какое-то «советское» воспитание. Скорее, нет. Это были мушкетеры, «Синие мечи»... это все была такая дворовая романтика. Дворовая романтика, не имевшая никакой идеологической окраски. Война – это была война с фашистами, которые напали на нашу страну, и которых надо было... Ничего такого специфически советского, коммунистического тоже я не помню в своем восприятии. Я еще не был ни комсомольцем – это все позднее началось. Это уже Молотов, это уже Пермь, где начинается совершенно другой уже какой-то этап моей жизни, отрочество.

Когда после двухнедельного примерно путешествия по Волге я оказался с семейством в Молотове, в Перми, я целое лето... а плыли мы в начале лета, целое лето провел в Парке культуры и отдыха имени Горького тоже, который находился прямо напротив нашего дома. А жили мы опять в особом доме. Он в Перми назывался «дом чекистов». И действительно, там... это постройка 30-х годов, такой конструктивизм. Ни среды, ни мальчишеской среды, никакой другой уже в это время не было, и я был обречен быть с самим собой, на одиночество. И это одиночество в этом парке я провел за чтением. Вот, можно сказать, что мое увлечение чтением началось именно там. Я помню, что я прочел за лето всего Тургенева. И это мне было очень интересно.

И вот так началась отроческая жизнь, началась школа, которая была мне уже интересна, в отличие от того, что было в Саратове. Вот. И я занимался общественной работой и спортом, и я был редактором школьной газеты, председателем совета отряда, и что-то еще там... в общем, у меня было много должностей, и однажды я, как… слышал, как кто-то из младшеклассников, из пятиклассников или еще что-нибудь, за моей спиной восхищенно сказал: «Слушай, – какому-то своему приятелю, – у него должностей больше, чем у Сталина!» *(смеясь)*. Вот. Тем не менее, я тоже не могу сказать, что это был какой-то фанатизм или оголтелое такое, значит... фанатическое оголтелое погружение в мир «советскости». Хотя я был уже в седьмом классе комсомольцем... но это как-то так обычно было, все там были комсомольцами, жизнь была не в этом. Не столько в этом.

А жизнь была, вот... пионеротряд, где я был начальником, это очень импонировало мне. В театральном кружке, где я занимался, естественно. Мы ставили какие-то... у нас был нашим руководителем артист драматического театра пермского, и мы ставили какую-то пьесу о Зое Космодемьянской, я помню. И я что-то такое там играл, и играл раньше даже. Был театральный кружок, еще на предыдущем этапе, которым руководила учительница литературы, и она ставила... поставила «Моцарта и Сальери», где я играл Сальери, а мой приятель играл Моцарта. И вообще, значит, было какое-то ощущение, что вот, может быть, это самое интересное, хотя потом я убедился, что никаких способностей артистических вообще во мне нету, это не моя планида. Так же, как очень скоро убедился, кстати... хотя учился я хорошо, без всяких проблем особых, вот, что не моя планида и математика. Потому что как-то однажды я попытался сходить на городскую олимпиаду и ушел оттуда, значит, с позором, не решив ни одной задачи. Вот, ну, по математике у меня были, тем не менее, «пятерки», но в школьных пределах, большего ничего не было. Так что это было... это не мои интересы были.

Зато я ходил в кружок... в кружок изобразительного искусства, который вел ученик Репина, местный художник такой, Гаврилов. Учился рисовать. Он мне даже говорил, что, в общем, «из тебя получится график хороший». Что касается масла – нет, это у меня никогда не получалось тогда. А рисовать – действительно, я рисовал, и даже как-то... ну, на каком-то конкурсе рисунков детских завоевал первое место портретом отца, который я сделал, такой набросок. Однажды он приходил ко мне в больницу, я лежал в больнице со свинкой. И вот за этот набросок я получил, значит, первое где-то место. И очень много и часто ходил в галерею художественную, которая расположена была тогда в большом соборе прежнем. По-моему, она до сих пор там расположена *(смеясь)*, так они и не построили до сих пор отдельного здания.

Директором галереи был замечательный человек, кажется, Николай Николаевич его звали, Серебренников, тот, который открыл вот эту пермскую деревянную скульптуру. И выставка, вернее, экспозиция этой скульптуры была им организована в этой галерее, вот. Но я занимался не столько этим, сколько, в общем... он был хорошо очень расположен ко мне и помогал мне там, и дарил мне краски и все прочее, и я просто ходил и изучал, можно сказать, живопись и нашу, и западную. Галерея очень хорошая: она была представлена... там были представлены, в общем, так сказать, и крупные даже мастера, но, во всяком случае, можно было составить себе представление о том, как развивалась живопись, и западная, и русская живопись в XIX, XVIII, XVII веке и даже Ренессанс. Вот, и это было серьезное такое образовательное... уже такое, самообразование. Это было увлечение настоящее. Я много читал в это время.

И еще из моих увлечений – это был театр. Это был театр Кирова, имени Кирова, Ленинградский театр, который был в эвакуации в Перми. И я, в общем-то, стал страстным посетителем, благо, у меня была возможность ходить бесплатно в театр, потому что у отца был абонемент, как у секретаря обкома, поэтому место... я всегда мог прийти, занять, там, в директорской ложе это место. И я пересмотрел все балеты, я видел все знаменитости того времени: и Буланова, и Семенова, Балабина, Вечеслова, Сергеева, Дудинскую... вот, не пропускал, по-моему, ни одного спектакля.

Регулярно ходил на симфонические концерты, которые были по понедельникам в этом же театре. Так что вот это уже была жизнь каких-то увлечений, каких-то увлечений, и я очень рад, что родители мои этому не препятствовали, а всячески помогали, то есть обеспечивали, я бы сказал, обеспечивали, я бы сказал. И поэтому, когда я... когда отец был переведен в Москву, а это 48-й год, я приехал в Москву уже... Ну что, может, сделаем перерыв маленький?

*(Обсуждение бытовых вопросов)*

***01.13.29.***

**Е.Г.:** Продолжаем?

**И.В.:** Да. Значит, я сейчас попробую воспроизвести некоторые эпизоды, о которых я забыл рассказать, относятся к разному времени, я отдельно просто о каждом из них расскажу, а там уж вы смонтируете как-то.

Значит, вот, что касается... я говорил о «случайном семействе», что родители мои были интеллигентами первого поколения, и что соединение их было, в общем-то, таким, какое бывает именно в «случайных семействах». Характерно, что и сама фамилия Виноградов тоже, в какой-то мере, абсолютно случайная вещь. *(Смеясь).* Дело в том, что у крестьян этого района и Тверской области, Тверской губернии, где расположены Уменицы, никогда никаких фамилий не было. Были государственные крестьяне, там, звали Иван, там, я не знаю, как. Но где-то в конце, видимо, XIX века, или в начале XX проходила какая-то перепись. И вот всех крестьян губернии переписывали, и они должны были себе выбрать некоторую фамилию, чтоб потом уже числиться под этим, да? Это был совершенно произвольный такой выбор. И вот, три брата – Игнат и еще два его брата, мой прадед Игнат, – они, выбирая фамилии, взяли три разных фамилии. Какой-то брат Игната взял фамилию Скоробогатов, второй брат взял, по-моему, фамилию Травин, а дед Игнат, вот, выбрал фамилию Виноградов. Так что и Виноградов – моя фамилия – она тоже является, как бы, так сказать, абсолютным атрибутом «случайного семейства», она тоже случайна.

Рассказывая об Уменицах, я забыл рассказать о том, что мои связи с этим моим родовым гнездом, если можно сказать так, они как-то очень забавно... ну, не завершились, а продолжились. Когда я кончил уже в Москве школу и после окончания школы поступил в университет на филфак и у меня был еще месяц, там, или полтора свободных, и отец и мать отправили меня с младшими детьми, с братом моим и сестрой в Уменицы на лето. Я взял с собой... какой-то у меня маленький такой был, примитивный довольно фотоаппарат, мы уехали, и там меня заставили применять этот фотоаппарат просто нещадно, потому что это было, в общем, послевоенное время, 48-й год, вот, только-только кончилась война, и когда местная публика, то есть жители Умениц узнали, что у меня фотоаппарат, все просили меня непременно сфотографировать. Мне это было нетрудно, я даже с удовольствием это делал и печатал какие-то фотографии. Но, значит, уменичане совершенно не хотели делать это бесплатно, они требовали, чтобы я что-то за это брал. Я решительно отказывался, и тогда, значит, мне приносили яйца. И к концу пребывания нашего, значит, в Уменицах, у меня набралась целая корзинка яиц, которыми я кормил своих младших и сам ел. И, в общем, мы приехали в Москву желтые, как китайцы. Схватили такую желтизну, желтуху... *(смеясь)* Но ничего, все обошлось.

С этим посещением моего родового гнезда связано еще одно очень забавное воспоминание. Престольный праздник в Уменицах был Ильин день. Хотя, как я сказал, в Уменицах храма не было, но ходили в Покров. И вот в этот праздник деревня вся праздновала так, как это и принято у них было: то есть пила беспробудно. Для этого специально в этот день варилось пиво. Варилось пиво в таких огромных бочках, рядом с огромным мощным костром, который разжигался. Значит, бочка, там, заправлялась хмелем, там, чем-то еще, из чего варят пиво. А рядом, значит, в костре раскаляли булыжники. Бросали туда камни, и когда булыжник раскалялся буквально докрасна, его щипцами, там, чем-то еще, там, вытаскивали из костра и бросали в бочку. И вот, бочка бурлила. Бурлила, и варилось таким образом пиво. И вот, вся деревня гуляла. А гуляла так. Значит, ну, во-первых, была водка, конечно, обязательно. Она уже была в это время, конечно, спокойно можно было в магазине доставать, или привозили откуда-то, уж я не помню. Самогон, естественно, да? И пиво вот это, оно такое густое, непрозрачное. И вот, я помню, что, значит, первая стадия вот такого всенародного празднества была в соседнем доме. Происходило так. Пили в каком-то доме. Выпивали все, что там есть. Шли в следующий. И так далее, так? И вот, в соседнем доме... и мы с моим дядей, дядей Ваней, мужем папиной сестры, пошли в этот дом, и я... на празднование, праздник Престольного, и я как-то решил про себя твердо, что я попробую себя. Мне было интересно: вот, я молодой, здоровый парень, даже немножко спортивный – сколько я могу выпить? Перед этим у меня были какие-то опыты, естественно: я знал, что такое водка, знал, что такое вино. Но никогда этим не увлекался, естественно, да? А тут я решил, значит... потому что, в общем-то, деревня, послевоенная деревня – это деревня без мужиков, или мужики такие, хиленькие, что даже молодому парню как-то досадно, невозможно, стыдно соревноваться с ними. Но они же пьют? И почему я не могу? И я помню, что, вот, за этим столом я выпил несколько стаканов водки и около двадцати стаканов пива.

**Е.Г.:** Ничего себе! Герой, действительно...

**И.В.:** Это я помню. Да. *(Смеясь)*. Это я помню. Но как я дополз после этого до своей избы – вот это я уже совершенно не помню. С помощью дяди Вани, естественно. И бабка меня отпаивала в течение трех дней. Я был просто при смерти. Как она меня отпоила – я даже не знаю. Отпаривала какими-то травами что-то еще. Но я это помню просто как какой-то бред собачий. После этого у меня уже появилась такая идиосинкразия к пиву, что я в течение нескольких лет видеть не мог никакое пиво! Хотя потом, попробовав, по-моему, темного пива, я как-то снова пристрастился, и сейчас пиво тоже один из любимых моих напитков. Но вот тогда это было окончание моего пребывания в родном гнезде. *(Смеясь).* То, что я понял, какой я... насколько я силен в этом деле. Мне это было очень важно понять, после этого я никогда этим так не увлекался.

Так, теперь я хочу, значит... теперь к тому месту, где я рассказываю о Новорепном. Новорепное – это село, которое стоит посреди степи. Кругом, насколько хватает глаз, огромная степь. Там вообще выращивали лучшие сорта пшеницы, самые твердые сорта пшеницы, которые шли у нас на экспорт. Вот, поэтому придавалось этому району очень большое значение, Новорепнинскому. Рядом, значит... это село стоит на маленькой такой речушке Узень, где начиналось, по-моему, восстание Пугачева. И я хорошо помню, значит, как бы образ жизни посреди этой степи. Мы, мальчишки, и девчонки тоже, занимались тем, что, главным образом, вылавливали сусликов из нор. Никаких деревьев в ближайшем окружении, в ближайших километрах, так сказать, от Новорепного не было. Только на Узени там какой-то кустарничек, какие-то кусты, какая-то единственная зелень. Поэтому всякое дерево – это было чудо. И я очень хорошо помню, как в 37-м году мама уехала в Ленинград рожать мою сестру, Галю. И потом, после этого, она привезла оттуда елку. И, значит, впервые, вот, в Новорепном у нас была елка. Это было такое чудо, что я хорошо помню, как, когда справляли, там, встречали Новый год, окна... два окна нашего дома... а это был саманный дом, потому что там дерева не было, строили из подручного материала. А топили, кстати, кизяками. Кизяки – это лепешки коровьи, которые мы каждую осень ездили на телегах по всей степи, где был выгон коров, собирать. Собирали телегами, привозили к дому и складывали такими штабелями. Вот, в среднерусской деревне – это поленницы дров, а там – такие поленницы... не поленницы, а штабеля кизяков. Кизяками топили. И еще я помню... значит, да, вот... Да, когда привезли, и у нас была елка, то я помню: вот эти окна нашего дома, облепленные детскими лицами. Вся деревня собралась смотреть на это чудо! Ребята смотрели просто, как то, чего никогда в жизни не видели.

Но были вещи, которые я потом в жизни никогда не видел, в Новорепном именно. Каждую весну мы уезжали тоже на телегах, на лошадях, на телегах, километров за пять, за шесть, в какие-то низины, которые были все усеяны тюльпанами. Вот это впечатление, понимаете? Вся степь, насколько хватает глаз, – она в тюльпанах. Тюльпаны самые разнообразные: и желтые, там, и красные, и сиреневые, и какие-то мутанты, где один лепесток такой, другой – другой. Мы набирали букеты, даже не букеты, а просто... мы же с ведрами, с тазами ездили. И вот, полный таз, полное ведро тюльпанов, потом в течение, там, недели или две цветы стояли в доме. Вот, Новорепное – это мир тюльпанов, мир бездеревья, мир степи, невероятно интересный в чем-то. Но, значит, потом он кончился тоже.

Следующий... следующая тема, которую я тоже забыл упомянуть, относится уже к саратовской жизни. Я говорил о том, что это была, в основном, уличная жизнь, и воспитывала меня не столько семья, сколько улица. А улица была... вот, я говорил, да, это была городская такая шпана. А улица была такая. Учиться – я учился нормально, в общем. Мне ничего такого... трудности это не доставляло, за исключением чистописания. Это у меня никогда не получалось. А так, в общем, я имел хорошие отметки и все прочее. Претензий с этой стороны ко мне не было. Но мне это было неинтересно. А интересно было другое. Интересно было, вот, гонять на велосипедах, гонять с этими крюками за машинами, и вообще, проявлять всяческое такое романтическое геройство. Любимое занятие было – удрать с уроков, и пройти улицу Кирова, или проспект Кирова, назывался тогда Немецкая улица, по-моему, от вокзала железнодорожного до Липок, это большой довольно такой... по крышам домов. Где-то спускаясь, где-то поднимаясь, где-то перепрыгивая – но вот это было одно из самых любимых занятий. И несколько раз мы это предпринимали. Наша маленькая ватажка, школьная уже, школьная ватажка, – вот это мы делали.

Это был, действительно, мир такой, городской шпаны. Чем мы только не занимались! Курили, естественно. Курили, выделывая из кленовых веточек такие трубочки, выдалбливали середину, потом собирали окурки и, значит, из окурков вытрясали туда, набивали эти трубки табаком и курили. Воровали. Воровали даже друг у друга: это считалось абсолютно нормальным геройством. Я помню, как, значит, мы с моим приятелем, у другого нашего приятеля, Гелика, – кстати, я сейчас расскажу и о нем. Пришли, он его отвлекал, а я у него из альбома стащил марку какую-то, очень хорошую. А мать этого Гелия Павлова была директором нашей школы. И вот, она потом меня вызвала и сказала, что «Игорь, отдай». Я не отдал, по-моему, так *(смеясь)*. Как-то это забылось все, потому что это была нормальная вещь. Правда, я своровал у матери часы однажды для того, чтобы продать и купить марки на эти деньги. Но, к сожалению, это не удалось, потому что когда мы пошли на местный базар торговать этими часами, какой-то парень подошел и просто отобрал у нас эти часы *(смеясь)*, ничего не заплатив и пригрозив, что сейчас он нас сдаст в милицию. Это было в порядке вещей. Курение, воровство...

Единственное отступление в моей жизни от этой целиком уличной жизни было однажды летом, когда мать отправила меня в пионерлагерь. Я один раз только был в пионерлагере в жизни. Но я должен сказать, что это тоже не сильно отличалось от того, что было на улице без всяких лагерей. Потому что мать, когда приехала туда проведать меня, спросила, как я тут живу и каким тут я вещам научился. Я ей выложил весь мат, который *(смеясь)*... которому я научился, честно выложил, которому я научился в пионерлагере и которого даже в нашей городской ватажке... как-то не очень это было принято употреблять, и не все я знал. А там я научился всему, и все это знал. Ну, вот.

Вспоминаю... понятно, что со стыдом, но вспоминаю, вот, то, каким я был тогда, а был я просто таким уличным зверенышем без всяких вообще... была какая-то своя система ориентаций ценностная, что благородно, что не благородно, что хорошо, что нехорошо, которая, конечно, ни в какую социальность не укладывалась, потому что... Я, вот, повторяю, там и курение, и воровство, и всяческое хулиганство на уроках – это была норма. Нам доставляло удовольствие, например, в стул, где сидит учительница, вбить патефонные иглы с тем, чтобы она села и вскочила. Или налить, там, в чернильницу какой-нибудь гадости ей. А однажды мы... однажды мы... какой-то портрет, я не помню, висел, но, по-моему, не Сталина. А может быть, даже и Сталина. Мы разрезали ему губы и вставили туда сигарету. *(Смеясь).* Но, слава богу, как-то это обошлось, видимо. Хотя, вообще говоря, бдительность там была невероятная в это время.

И я помню, как еще в первом классе, когда я пошел в школу, мама одела мне... дала надеть мне рубашечку вышитую, такую, косовороточку, вышитую ею самой: колоски и... колоски ржи и васильки. Такой орнамент. Ее вызывали в школу, потому что это был вредительский рисунок! Это сорняки, это пропаганда сорняков! Это было очень серьезно. Но, тем не менее, я повторяю, все это как-то обошлось, и «Синие мечи» обошлись, как-то это пронесло.

Теперь к... теперь, теперь эпизод... кое-что я хотел бы добавить к рассказу о пермской своей жизни. Мы жили в «доме чекистов», я рассказывал, и в этом доме жило... тоже жило все городское начальство, там, и обкомовское начальство, и там жил, в частности, генеральный конструктор авиазавода, пермского авиазавода. А в Перми... Пермь – это промышленный город, и два огромных завода: завод авиамоторов и артиллерийский завод, так называемый, «Мотовилиха», который фигурирует в романе Веры Пановой «Кружилиха». Это артиллерийский завод. И поэтому, вот, как только мы приехали в Пермь, в Молотов тогдашний, первое, что поразило, – то, что над городом постоянно стоит гул. Потому что испытывают вот эти моторы, а завод расположен на окраине, но не так уж далеко от центра, скажем, и все. И когда испытывают этот мотор, стоит такой мощный гул, непрерывный, днем и вечером, там. Ну, с небольшими перерывами, но днем, и вечером, и ночью – все время, потому что работали круглосуточно. И время от времени, тоже в течение дня раза три или четыре – это серии залпов, испытания... через Каму, «Мотовилиха» расположена была на берегу Камы, и там, оттуда приготовленные, только что изготовленные пушки испытывались, стреляли… полигон на том берегу Камы, через... и вот эти залпы постоянные орудий. Это глубокий тыл, там не было даже маскировки, что тоже поразило сразу, как мы приехали: Саратов был весь затемнен. Это особенность вот такой пермской жизни.

И вот, главный конструктор этого завода, авиазавода был Аркадий... Аркадий... не помню, Николаевич, кажется, надо посмотреть, наверняка в интернете есть, Швецов, автор-изобретатель вот всех этих... этой знаменитой «звездочки». «Звездочка» – это был такой авиационный мотор, на котором работали и летали все наши штурмовики, истребители – это было его, его создание. Он был вообще исключительный совершенно человек. Я помню, как – лауреат Сталинских премий, получал все время – я помню, как однажды, это был, значит, видимо уже где-то 44-й год, там, или 45-й, было опубликовано в «Правде» постановление, значит, о присуждении Сталинских премий, и его там не оказалось почему-то. Через день или два, как рассказывали потом, по распоряжению Сталина, было принято специальное решение о нем, и он получил Сталинскую премию первой степени, то есть высшую, вот, за какой-то очередной мотор, который он сделал. Его очень ценили.

Я рассказываю о нем, потому что он жил в нашем доме, и мы были знакомы домами. И я довольно часто у него бывал. Это был замечательно интересный человек, очень много читавший, очень много знавший. Он был любитель живописи, сам писал, довольно интересная живопись, пейзажная, в основном, да? И мы с ним очень много проводили какого-то времени в беседах, разговорах. Он был театрал, и вместе со мной тоже посещал и симфонические концерты, и балет. Я вспоминаю о нем, потому что он был один из первых, может быть, каких-то нештатных моих учителей, от которого я взял какие-то вещи для себя на всю жизнь. И я помню, как…

Вот одна такая вещь была связана с тем, что, когда я его спросил однажды: «Аркадий Николаевич, – кажется, я не помню сейчас по отчеству – я поражаюсь, говорю: как вообще, вот, можно создать авиационный мотор, это же невероятно сложно!» Он говорит: «Нет. Вы знаете, если вы хорошо знаете...» «Вы можете мне объяснить, как?» – я говорю. «Если вы хорошо знаете свой предмет, вы знаете мотор, вы можете объяснить, как он работает, пятилетнему ребенку». И вот это я запомнил на всю жизнь. Я понял, что, действительно: всякую вещь, если ты хорошо ее знаешь, ты можешь объяснить потом пятилетнему ребенку. Это не значит, что надо писать так, как для пятилетнего ребенка, но этот идеал надо иметь всегда в голове и по этому ориентиру выстраивать то, что ты делаешь. Он научил меня еще каким-то вещам, каким-то фокусам очень забавным, основанным на использовании центра тяжести. Скажем, вилка с ножом на спичке могут стоять на краю стакана. Я этот фокус часто показывал потом своим друзьям и знакомым, и их всех всегда это поражает: каким образом это может быть. А все дело в том, что просто надо найти такой центр тяжести, который позволит и ножу, и вилке сцепленным держаться на этой спичке. Это о Швецове.

Должен сказать, что вот как раз в Перми пришла мне, вместе с театром и с симфонической музыкой, с концертами, с балетом и любовь к музыке. Я продолжал заниматься скрипкой, и учил меня профессор Римский, вторая скрипка Кировского театра. Потом мы встречались с ним, у него были замечательные ученики, он возил их на всякие конкурсы. Ну а мной он занимался, потому что, в общем, это был приработок, вот. И мать как-то его очень обихаживала в этом смысле. Но мне это было уже интересно, я уже занимался этим с удовольствием. И более того, в Перми я попросил мать, чтобы она мне взяла учителя фортепиано. И где-то в течение, там, двух лет я научился немножко играть и на фортепиано. Я помню, что, когда я кончил этим заниматься, я кончил «Турецким маршем» Моцарта. Значит, я, все-таки, мог уже это исполнять. И это мне очень нравилось. Вот.

Последнее, что я хотел бы добавить, говоря о периоде своей пермской жизни, что кончилось это... этот период довольно печально. Когда отца перевели в Москву, а перевели его, когда я был в девятом классе... нет, перед девятым даже классом, мы как-то... семья решила, что нечего меня вырывать из молотовской школы, что я должен доучиться там, доучиться девятый класс, а потом уже, после этого переехать в Москву. И я остался, значит, с матерью и с детьми, а отец уехал туда. И тут случилось... да, и тут случилось... в общем, началась такая семейная драма, потому что отец здесь, в Москве... в общем, у него появилась другая женщина. Мать узнала об этом, и это было очень тяжелое переживание. Я помню, что я очень четко тогда сказал матери, что «в любом случае, я останусь с тобой». Вот, значит, уже какое-то, насколько я понимаю, к этому времени представление о порядочности, о том, что надо делать, у меня уже было. И я, действительно, готов был остаться, если нужно, и зарабатывать на жизнь, хотя я не знал, как и что я могу, но решение такое твердое было. То есть, вот, иного быть просто не могло. Слава богу, потом все это как-то рассосалось, и когда мы переехали, все-таки, в Москву, все восстановилось. Семейный мир был восстановлен, хотя я знал, и мать мне это говорила, что она никогда больше не была счастлива. Когда мы переехали в Москву в 48-м году, и вот на этом я закончу наш сегодняшний урок, с вашего позволения, значит, отцу дали квартиру на Кутузовском проспекте, в доме, в котором, там, потом Брежнев тоже жил. И я поступил в школу, в 666-ю, по-моему, школу, кажется, так, которая недалеко, напротив была. И я помню, что, когда мы пришли, значит, в эту школу записываться, туда, к директору школы, директор, значит, так как-то снисходительно и, как бы сочувствуя мне, сказал: «Ну, вы имейте в виду, что у нас обычно отличники провинциальные – я был вроде бы отличником – садятся сначала, там, на «тройки», не больше. Так что вы этого не бойтесь». Вот, это меня так жутко задело, потому что я был амбициозный мальчик. И я в первую же четверть вышел круглым отличником. Я очень зверски занимался. А уровень, действительно, школы был куда выше, чем то, что я имел в Перми. У нас был замечательный математик, замечательная химичка. Математик, который в моей жизни сыграл б*о*льшую роль, чем все преподаватели литературы, вместе взятые, в школе. Он научил меня логическому мышлению и научил... он любил очень красивые решения задач, самые простые, самые красивые. И вот эту любовь он мне где-то привил, и я перенес потом это и на свою профессию. Был замечательный физик, который диктовал нам свой учебник физики. Все школьные такие, обычные бумажные, там, эти книжные учебники – все отставлялись в сторону, он нам диктовал каждый урок. И это был замечательный учебник, очень просто изложенный, вполне в соответствии с заветами Вениамина Ильича, нашего математика. Замечательная химичка была, и я с ней дополнительно занимался, потому что те вещи, которые она от нас требовала, которым она нас учила, – в молотовской школе об этом даже и не слыхали. Вот.

Ну, в общем, где-то, тем не менее, уже в первой четверти я был уже отличником, и кончил школу с золотой медалью. Значит, тоже из чистых амбиций, да? Из чистого честолюбия. Но я, действительно, очень много занимался. Но это был год, значит, когда я кончал десятый класс, это был год, в общем, тоже усиленного очень такого самообразования. Я очень много ходил по музеям, в «Третьяковку», Музей изобразительных искусств... там просто проводил очень много времени. Театры, консерватория... в общем, все, что можно было взять от Москвы, я старался взять, потому что это был уже вот такой период... такой период становления. Я уже понимал где-то, что выбор жизненного пути – это вещь очень ответственная, очень серьезная, и это надо как-то определить, поэтому я искал разные возможности.

Кем я буду, куда я поступлю – я еще не знал в начале, скажем, десятого класса. К концу десятого класса уже знал, что я поступлю на филологический факультет, потому что, в общем, то, что дополнительно, скажем, я изучал, по сравнению с тем, что давала школа, скажем, критику XIX века, – мне это показалось настолько увлекательным и интересным, что я подумал, что эта профессия мне вполне может подойти. Хотя до этого я думал, что, может быть, я буду дипломатом, и еще что-то такое. Ну а в самом раннем детстве – летчиком, конечно.

Ну, вот, остановилось все на филологическом факультете, и летом 48-го года, значит, я сдал... не экзамены, потому что я кончил с золотой медалью, это было собеседование. Но это было серьезное такое собеседование: мне задали около сорока вопросов. И я поступил, и после этого уехал с младшими детьми в Уменицы и попробовал себя на крепость с точки зрения алкоголя. Вот. На чем мое как бы образование в этой области, я думаю, что закончилось. Я тогда на этом сегодня кончу.

**Е.Г.:** Спасибо, Игорь Иванович.

**И.В.:** В следующий раз, значит, я уже тогда буду говорить... расскажу об Университете, вот, это будет уже немножко другое. А сегодня я чего-то такое... устал уже.